

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

*Кем был Пушкин: революционером, консерватором  
или контрреволюционером?*

Среди тем и проблем, коими озабочены пушкинисты, есть одна, как ска- зал бы один известный исторический персонаж, “закавыка”, мимо которой почему-то проходят все. Суть её можно сформулировать следующим обра- зом: как, собственно, получилось, что среди огромного числа людей, чьи взгляды в то время можно было счесть антиправительственными, антимонар- хическими, антиаракчеевскими, атеистическими, то есть, по логике вещей, заслуживающими той или иной формы репрессии, первым, на кого гнев па- дал непременно, всегда оказывался именно Пушкин?

В конце концов, что, кроме “Вольности”, не ходило в списках других сти- хов иных авторов? Не существовало, помимо пушкинских, эпиграмм, направ- ленных против царского любимца Аракчеева? Не имелось, кроме Пушкина, других людей, разделяющих атеистические взгляды? Ходили, существовали, имелись, но каждый раз список инакомыслящих и за то наказанных начинал- ся обязательно с Пушкина. Даже первые “декабристы” – Раевский и Орлов – пострадали по времени много позже высылки поэта из столицы. А ведь в той или иной форме вопросы эти вставали ещё перед современниками Пушкина. Долго знавший поэта Ф. Ф. Вигель недоумевал:

*“Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал. Он был в отношении к свободе то же, что иные христиане к религии своей, которые не оспарива- ют её истин, но до того к ней равнодушны, что зевают при одном её имени. И внезапно, ни за что ни про что, в самой первой молодости оторвать чело- века от всех приятностей образованного общества, от столичных увеселений юношества, чтобы погрузить его в скуку Новороссийских степей”.*

И что, за каждым ратующим за свободу, равенство, братство была уста- новлена полицейская слежка? Смею думать, тогда не случилось бы декабрь- ского восстания. А сколько атеистов в те же дни было отправлено так же по своим родовым имениям “под домашний арест”? Вы можете назвать их име- на? А Пушкин, однако, по этой причине отправлен.

У меня нет безальтернативного объяснения этой “закавыки”. Не хочется думать, что причиной всему случившемуся была обыкновенная человеческая зависть. Или, как следует из знаменитых слов из письма Пушкина Вяземскому, написанного в ноябре 1825 года, дело всё же в том, что человек “... в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего”?

Тут напрашивается необходимость соединить, как звенья одной цепи, события, когда завсегдатаи салонов и театров смаковали сплетню, будто кумира Санкт-Петербургской золотой молодёжи, шестисотлетнего дворянина Пушкина выпороли в полиции, точно крепостного хама. И события, когда тот же круг лиц бурлил в “VIP-зоне”, которой являлся царский двор, наблюдая за публичным флиртом самого модного в столице донжуана и самой красивой женщины Северной Пальмиры. Когда все замерли в сладком ожидании: обернётся ли кокетство явной связью?

Неужели божественная гениальность Пушкина на протяжении всей его жизни столь раздражала окружающих, что против него непрерывно выставлялся грубый заслон?

Судьба уготовала ему участь одиночки. И вроде бы личность незаурядная, многие даже находили Пушкина приятным, но вечно был он неудобен в общении. Про таких говорят: “Не гибкий, делает то, что хочет”. Любое исключение странно. А тут чуть не у каждого есть законная возможность раздражённо думать: “Не такой, как все, и самое ужасное — не такой, как я”. И та же судьба заставила его испить горькую чашу: быть публичным человеком. Вот и получилось: беспомощность публичного одиночества. Можно представить, какое бешенство бурлило в нём, принуждённом терпеть неотвязное проклятие одиночества публичного человека.

Ведь если приглядеться, невозможно увидеть в нём сфокусированного неприятия Александра I. Конечно, поэт-вольнодумец “читал свои Ноэли”, произносил, бравируя: “Тираны мира! трепещите!” — но был всё же “рукописным бунтарём” — не он “обнажал цареубийственный кинжал”. Думаю, вряд ли его слово виделось правительству “страшнее пистолета”. И потом, никак нельзя отнять у вольнодумца Пушкина его строк о государе, наверняка известных Александру I:

*Там — громкой славою  
Сильной державою  
Мир он покрыл.  
Здесь безмятежною  
Сенью надежною  
Нас осенил.*

Так почему столь последовательное отторжение: сначала — на Юг, потом — в Михайловское?

Почему он подвергался непрекращающейся слезке? И какой разнообразной! Чего стоит один только факт, обнаруженный в архиве в деле Бошняка, агента III Отделения. Из документа следует, что по Высочайшему повелению в Псковскую губернию направлен коллежский советник Блинков, имеющий на руках подписанную бумагу “о взятии и доставлении по назначению одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем объявят при самом его арестовании”. По сути, это был ордер на арест поэта. Он выдан 19 июля 1826 года, то есть во время нахождения Пушкина в Михайловском, за два месяца до освобождения. Поэта арестовали бы, случись подходящий повод.

Почему его преследовали неизменный и унижительный “короткий поводок” и горькая слава неблагонадёжного? Почему власть и “общественное” мнение отчётливо наблюдают невидимое и не различают очевидного?

Почему по сей день на уроках литературы, как почти два столетия назад, Пушкин нашими учителями рисуется “певцом свободы”, таким неистовым обличителем государственных устоев России, ожесточённым ниспровергателем царизма, что куда там до него революционно настроенному Герцену со своим лондонским “Колоколом”? Нет ответа.

Кстати, многим ли учителям известно, откуда, собственно, возникло это ставшее устойчивым словосочетание — “певец свободы”? Кто, когда и за что так нарёк поэта? Так нарёк себя сам Пушкин весной 1821 года в строках нео-

конченного послания к членам кружка “Зелёная лампа”, посвящённых братьям Всеволожским:

*Вы оба в прежни времена  
В ночных беседах пировали  
И сладкой лестью баловали  
Певца свободы и вина.*

Как видим, звучный титул, широко используемый нами, вырван из контекста тонкой самоиронии автора стихов, который вряд ли мог предположить, что по истечении времени потомки из числа политических фанатов эти два слова захотят отлить из бронзы и в таком виде накрепко прилепить к его имени.

Более “продвинутым” почитателям Пушкина свойственны нескончаемые споры совсем иного рода. Когда именно “на смену бешенству пришло мудрое смирение, давшее силы возвыситься над исковерканной судьбой и ласково ей улыбнуться”? Когда и почему он “закалялся” писать “либеральный бред”? Когда на смену сочинителю “Вольности”, “Кинжала”, “Гречанка верная! не плачь...” явился совсем другой поэт, автор “Евгения Онегина”, “Бориса Годунова” и “Графа Нулина”? Когда его блистательные стихи наполнились очаровательным лукавством, мягкой иронией, тёплым юмором, и в них запульсировал сокровенный нерв русского характера?

Обычно исследователи задаются вопросами: “Что стряслось? Что сделало его осторожным, опасливым и лояльным, что обусловило резкую, глубокую перемену в творчестве и мировоззрении?”.

Ответы предлагают разные. Например: “Юношеский либерализм Пушкина носил заёмный характер и был данью модным умонастроениям, о чём писали в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель, П. А. Катенин, П. А. Вяземский. Над своими свободолюбивыми стихами сам поэт впоследствии смеялся, что прямо засвидетельствовали Кс. А. Полевой и В. Г. Белинский”.

Или: “Пушкин преобразился между двух вёсен, 1822-го и 1823-го года”. Отрезвление произошло в связи с арестом В. Ф. Раевского.

*Немного истории. По большому счёту, было отчего и преобразиться, и отрезветь. При отсутствии прямых улик, по одному лишь подозрению в антиправительственной агитации среди солдат, которых он учил грамоте, Владимир Раевский провёл в одиночном заключении шесть лет. Однако вины за собой не признал и никого не выдал. В конце концов, Следственная комиссия вынесла Раевскому смертный приговор, после которого последовало разбирательство ещё в пяти правительственных комиссиях. В 1827 году майор В. Ф. Раевский был лишён дворянства, офицерского чина, всех наград (после Бородинского сражения он был награждён золотой шпагой за храбрость, а за отличие у деревни Гремячево – орденом Анны 4 степени) и сослан на поселение в Сибирь. Там он провёл 29 лет, жил крестьянским трудом, устроил школу для крестьянских детей.*

Радикальная версия гласит, что основной причиной пушкинского кризиса стал “ряд крупнейших политических событий, резко видоизменивших картину революционной борьбы на Западе”. Мол, последовавший разгром испанских инсургентов и укрепление диктатуры душителя свободы Аракчеева заставили трезвого и зоркого поэта разочароваться в перспективах революционных движений. Поэт, конечно, оказался прав: к осени 1823 года все революционные движения в Западной Европе оказались разгромлены – откуда было взяться оптимизму!

Более мягкий, житейский, вариант предлагает видеть объяснение в пережитом Пушкиным к осени 1822 года полном крушении своих надежд на освобождение. Из опасения ещё худшего разворота событий он и сделал соответствующие выводы.

Самая желчная точка зрения ведёт отсчёт уже с весны 1821 года. Оказывается, именно тогда поэт подверг кардинальному пересмотру свои либеральные воззрения и решил оборвать политические струны на своей лире. Причиной душевного и творческого перелома становится разочарование Пушкина в масонстве. Братья-масоны, генералы М. Орлов и П. Пущин, на глазах поэта явили свою немощь. Один собрат был лишён должности, другого – са-

мого мастера ложи! — отстранили от службы, и он ищет денег на отъезд, третий — майор В. Раевский, поэт и близкий друг Пушкина — и вовсе брошен в тюрьму. А Пушкин, только-только принятый в ложу, оказался совсем один, и ему не на кого было опереться. Как бы самому не загреметь в каталажку! А ведь он уже мыслил себя, “ни много, ни мало, избранником небес и главным врагом царствующего монарха, будущим российским Наполеоном”. По крайней мере, именно таким хочется представить поэта тем, кто озабочен не уходом Пушкина от настроений “политического радикализма”, “атеизма” и от увлечения антихристианской мистикой масонства, а желанием унижить духовно созревающего Пушкина.

Не хочется говорить “красиво” и повторять заурядно демагогическое, что “вечно работающий гениальный ум Пушкина раньше многих его современников понял лживость масонства и вольтерьянства и решительно отошёл от идей, связанных с вольтерьянством и масонством”.

Но нельзя не сказать, что Пушкин, довольно рано соприкоснувшийся с радикальными политическими идеями, достаточно быстро в них разочаровывается. Тому есть немало свидетельств. Вот запись Липранди, которого вряд ли можно заподозрить в желании приукрасить “поведение” поэта:

“Когда Пушкин в первый раз увидел Пестеля, то, рассказывая о нём, говорил, что он ему не нравится и, несмотря на его ум, который он искал высказывать философскими тенденциями, никогда бы с ним не смог сблизиться. Пушкин отнёсся отрицательно к Пестелю, находя, что властность Пестеля граничит с жестокостью”.

В записях самого Пушкина можно найти чёткое обоснование его отношения к Пестелю:

“Могучий ум Пестеля удивлял, хотя не со всем я был согласен”.

“Он готовил заповедную грамоту великого народа российского, служащую заветом для усовершенствования России и содержащую верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления, полагая, как и свод древнерусского права, назвать её Русской Правдой. Вот некоторые его смелые мысли:

“1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д.

2. Конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным — ибо принцип вооружённой силы прямо противоположен всякой конституционной идее.

3. Всегда будет гильотина: то, что полезно обществу, вводится в жизнь только силой, так как частные интересы почти всегда этому противоречат; так как этого можно достигнуть только средствами жестокими и ужасными для человечества”.

Очевидно, что эти ужасные средства — революции. Вот они и настали”.

Не произошло сближение Пушкина и с поэтом Кондратием Рылеевым. Призывы Рылеева и Волконского отдать своё вдохновение на службу подготавливаемой революции вместо ожидаемого положительного отклика Пушкин подвергает насмешкам. В его письмах мы читаем:

“Цель поэзии — поэзия, — как говорит Дельвиг (если не украл). Думы Рылеева целят, и все невпопад”.

“Что сказать тебе о “Думах”? (поэтический цикл Рылеева, который создавался в 1821–1823 годы, а в 1825 году был издан отдельной книгой. — А. Р.). Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы “Петра в Острогжске” чрезвычайно оригинальны. Но вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой, составлены из общих мест: описание места, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них ничего, кроме имён”.

В одном из писем Пушкин даже шутит, что, по его мнению, название “Думы” происходит от немецкого слова *Dummkopf* — ‘дурак, глупец’. Не принял Пушкин и политического радикализма Рылеева, на что указывал Плетнёв.

Поэтому совершенно неудивительным, наоборот, чрезвычайно характерным представляется поэтическое признание Пушкина, написанное в том же 1821 году:

*Всегда так будет и бывало,  
Такой издревле белый свет:*

*Учёных много, умных мало,  
Знакомых тьма, а друга нет.*

Кто-то, взглядываясь в один из узловых моментов биографии Пушкина, ищет и находит “кишинёвский перелом”, кто-то диагностирует “одесский кризис”, кто-то определяет “радикальную перемену взглядов”, но для Пушкина это не было изящным кульбитом с переворотом на 360 градусов. Поэзия как была, так и оставалась для него таинственной областью вдохновения. Поэтому чем дальше, тем больше поэт опасался культурного диктата будущих декабристов. Он видел их нескрываемое желание обратить искусство на службу политике, превратить литературу, как он иронично выразился в одном из писем к Рылееву, в *республику словесности*.

Кто-то предпочитает, всматриваясь в самого Пушкина, обнаруживать в нём “дьявольски самолюбивого, тщеславного, весьма расчётливого, хотя и безалаберного” человека, считая, что поэт “всегда зависел от денег, царя, читателей, критиков, сплетен, предрассудков, то есть от собственных потаённых страхов”. Говорят, что он “в стихах яростно обманывал себя, провозглашая свою абсолютную независимость”.

Читая подобное про Пушкина, я, признаюсь, с улыбкой вспоминаю строки из пушкинского письма 1821 года брату Льву. Вроде бы не на тему, но по сути — в самое что ни на есть “яблочко”:

*“Пиши ко мне, покамест я ещё в Кишинёве. Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью, и пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку”.*

Примечательно, что уже в 1822 году в Кишинёве Пушкин пишет “Исторические заметки”, и мысли, заключённые в них, надо признать, служат опровержением политических взглядов декабристов. Потому представляется само собой разумеющимся, что, когда Пущин приезжал к Пушкину в Михайловское, поэт не поддержал начатый другом разговор о тайном обществе. Нашёл самую что ни на есть убедительную мотивировку отказа и обратил всё на себя: *“Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь! Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям”.*

Мне кажется, что в январе 1825 года в Михайловское Пущин приезжал не как близкий друг поэта, а как декабрист, пытавшийся поставить точки над “i”: окончательно прояснить, могут ли заговорщики надеяться на участие Пушкина в заговоре? После долгих споров и разговоров вокруг да около Пущин сделал резонный вывод, что Пушкин не разделяет идею революционного переворота, а потому рассчитывать на него как на члена тайного общества не приходится.

А как тогда, спросите вы, расценивать пушкинские слова на прямой вопрос царя, что бы он сделал, будь он 14 декабря в Петербурге? Ведь он смело или даже, можно сказать, довольно нахально ответил, что **вышел бы** на Сенатскую площадь? Ничего удивительного, а тем более вызывающего в том, что он и впрямь вышел бы на площадь, я не нахожу. Не сомневаюсь: вышел бы, однако совсем не потому, что его убеждения совпадали с убеждениями восставших, а идеалы были близки к декабристским. Как известно, Иван Андреевич Крылов, который тоже не разделял взгляды восставших и даже осуждал их, отвергая попытку изменить жизнь насильственным путём, тем не менее, посчитал своим долгом быть на Сенатской площади — его там видели!

Из воспоминаний можно заключить, что Крылов порицал восстание, рассматривал события 14 декабря как трагедию, или, говоря языком того времени, признавал, что рука Всевышнего покарала их за многие дурные намерения, но это не мешало ему глубоко сочувствовать осуждённому, горевать об их ужасной участи. Был на Сенатской площади 14 декабря и очень далёкий от идей декабристов Карамзин. Так что смешивать без разбора политические и человеческие симпатии, убеждения и поступки, видеть в личности обтёсанный телеграфный столб, — по меньшей мере, глупо.

Замечу, однако, что встреча друзей чуть позже будет иметь ещё одно, сугубо литературное продолжение, о котором именно в этой связи не всегда вспоминают. Своеобразным ответом на висевший во время разговора друзей в воздухе вопрос станет пушкинская элегия “Андрей Шенье”, которую он напишет через несколько месяцев после приезда Пущина — в мае-июне 1825 года. В ней найдут выражение раздумья Пушкина о Французской революции и

гражданской позиции, отношениях поэзии и политики, чётко прозвучит мотив сближения судьбы поэта с гонимым тираном Андреем Шенье. Тем самым Пушкин обоснует своё неприятие революционного пути.

И хотя стихотворение было написано за полгода до “стояния на Сенатской площади”, после восстания декабристов оно стало распространяться в рукописных копиях с провокационной надписью “На 14 декабря”. Началось расследование, и Пушкину пришлось четыре раза в продолжение 1827 года давать официальные объяснения о происхождении и смысле стихов из “Андрея Шенье”. Пушкин на допросе был вынужден давать письменные “показания”:

*“Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последующих мятежей и помещены в элегии “Анри Шенье”, напечатанной с пропусками в собрании моих сочинений. Они явно относятся к французской революции, коей А. Шенье пал жертвой. Все стихи никак, без ясной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабря. Не знаю, кто над ними поставил сие ошибочное название. Не помню, кому мог передать мою элегию “А. Шенье”.*

*Александр Пушкин. 27 января 1827 года”.*

Монархическая направленность “Андрея Шенье” была очевидной, тем не менее граф Кочубей – он вёл следствие по делу, – бывший Председателем Государственного Совета, настоял на том, чтобы Пушкина взяли под секретный надзор, и предложил взять с него расписку, чтобы он (вопреки обещанию Николая I “быть его цензором”) сдавал свои произведения в обычную цензуру.

Спустя годы П. А. Катенин заметил по поводу пушкинских “замашек либерализма”: *“Правду сказать, они всегда казались мне угождением более моде, нежели собственным увлечением”.*

Сегодня можно прочитать, что в молодости умеренные либеральные идеи поэта носили “целиком заёмный характер”, что в оде “Вольность” отразились воззрения Н. И. Тургенева и политические концепции Союза Благоденствия. Одно непонятно, когда читаешь такое: что именно ставится в упрек поэту? То, что он принял идеи Н. И. Тургенева, или то, что в юные годы не сумел самостоятельно выработать систему политических воззрений и не сформировал своей собственной политической концепции? Но когда он её сформировал, почему-то вновь не обошлось без претензий. На этот раз потому, что его концепция не совпадала с той, какой от него ожидали масоны и декабристы. Вот и недовольство многих нынешних “исследователей”, если откровенно, обусловлено ничем иным, как неприятием политических воззрений Пушкина, возникших у него на Юге и сложившихся в систему в Михайловском.

Среди зацитированных строк чаще всего по этому поводу фигурирует отрывок из пушкинского письма А. И. Тургеневу, имеющий отношение к оде на смерть Наполеона: *“Эта строфа ныне не имеет смысла, но она написана в начале 1821 года, – впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях...”*

Детально, что называется, с лупой рассмотрены и выражение “последний либеральный бред”, и слово “закаялся”. Какой вывод делается из всей этой истории? Слова говорят разные, но всё сводится к тому, что *“употреблённое Пушкиным слово прямо подразумевает, что человек сожалеет о происшедшем и даёт себе зарок воздерживаться от поступков непозволительных, опасных, имеющих плачевные последствия. В данном случае – зарок не писать “либерального бреда”.*

*“Чем же вызвана столь постыдная и страшная утрата всех моральных ориентиров? Что ввергло молодого Пушкина в такую горькую бездну?”*

*“...поэт в расцвете творческих сил сам заткнул себе рот кляпом”.*

*“Молодой “певец свободы” успешно перевоспитался и с тех пор старался ладить с правительством на протяжении всей оставшейся жизни”.*

Похоже, у современных авторов к Пушкину одна-единственная претензия. Не важно, **когда** он “зарёкся” писать гражданственные, политические стихи. Ужасно, что вчерашний бесшабашный храбрец-оппозиционер, готовый “на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России” таки “приучил себя держать язык за зубами”. Приобрёл “похвальную привычку полностью скрывать свои политические убеждения и не перечить властям”.

Выходит, когда он следовал за будущими бунтарями-декабристами, он был хорош. Но стоило ему высказать собственное мнение, сказать, что “бунт и ре-

волюция мне никогда не нравились”, а “Кинжал” не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно”, как тут же мы выбираем другую оценку – со знаком минус – и обвиняем поэта в “столь постыдной и страшной утрате всех моральных ориентиров”.

Вот если бы декабризм стал политической программой Пушкина, слился бы со всей жизнью поэта, и он хранил бы ему верность до гроба, всё было бы прекрасно, и сколько патетики-патоки можно было бы вылить в его адрес!

Если продолжал бы сочувствовать слабым и сирым вместо того, чтобы выказать ледяное презрение поверженному и обездоленному народу, которого мало волнует собственная свобода, слыть бы ему истинным патриотом, а так...

Да, ещё в середине 1822 года Пушкин вполне резонно считал “скотами” не угнетённых, а их угнетателей. Можно предположить, что до определённого времени он был уверен в конечной победе народных восстаний. Но результаты революционных движений в Западной Европе, понимание бесперспективности политических пертурбаций отечественных революционеров-заговорщиков приводят Пушкина к мысли, что революционный путь – не единственный, не лучший, далеко не лучший, больше того – совсем не годящийся для России, страны с тем неуклюжим устройством, какое в ней есть, с “набором” неорганизованных революционеров-реформаторов, какие имеются на политическом небосклоне, с тем жизненным укладом, при котором порядочному человеку ничего сделать нельзя, и теми традиционными взглядами людей, которые определяют характер и поведение народа.

*Увидел я толпы безумной  
Презренный, робкий эгоизм.*

Пушкинское вольномыслие оказалось “разменной монетой” в системе отношения к поэту. Одними пушкинистами масштабы и значимость его гражданской лирики преподносились непомерно раздутыми. Для других она “была лишь частью тех весёлых мистерий, которые, кроме фронды, включали в себя вино и женщин”. Третьи останавливались на умеренных взглядах, привитых своему питомцу ещё лицейским профессором А. П. Куницыным – противником крепостничества, который проповедовал принцип равенства всех граждан перед законом как гарантию против деспотии.

Этим спорам уже много лет. Исповедовал ли Пушкин “ненависть к самодержавию”, являлся ли он сторонником конституционализма или изо всех сил старался ладить с правительством и был противником своих друзей-декабристов, поднявших руку на монархию?

Начиная с Б. В. Томашевского, идёт разговор о том, что Пушкин не скрывал “антипатии к тактике вождей Французской революции эпохи террора”. При этом цитируется письмо к Петру Вяземскому от 10 июля 1826 года, в котором поэт сознаётся: *“Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков”*.

Но куда примечательней те оценки-комментарии, которые сопровождают сегодня те или иные строки его писем. Только что процитированное послание сопровождается утверждением: мол, по-видимому, это написано не в расчёте на перлюстрацию, а вполне искренне.

Но вот несколько ранее – 7 марта – в письме к Жуковскому Пушкин писал: *“Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости”*.

К этим строкам письма прикреплена уже другая “бирочка”: и это написано совершенно искренне, но вместе с тем, разумеется, в расчёте на перлюстрацию.

Странные, однако, мы читатели. Всегда хотим привести к некоему общему знаменателю. А потому легко домысливаем за того, кого вроде бы причисляем к гениям. Словно сами вылеплены из того же теста и воспринимаем всё точь-в-точь так же, как он. Запросто мерим своим аршином: здесь поэт сказал так, зная, что письмо будет вскрыто “кем следует” и прочитано, а здесь, конечно же, написал не в расчёте на перлюстрацию. Уж мы-то ведаем наверняка! А потому без зазрения совести совершаем открытия: “певец свободы”

Пушкин, оказывается, вовсе не был революционером и противником монархии, которой, в его понимании, надлежало лишь в рамках законности обеспечивать “свободу, правовой порядок и просвещение”.

Конечно, после того, как годы и годы советское литературоведение объявляло поэта безусловным революционером и противником монархии, подобное в корне противоположное высказывание выглядит очень смелым. Но позволю себе думать, что задай я сегодня какому-нибудь французу вопрос о роли государства, услышу в ответ, что власти надлежит в рамках законности обеспечивать свободу, правовой порядок и просвещение, причём даже в таком именно порядке. Получается, что Пушкин, если разобраться, не был ни революционером, ни консерватором, ни контрреволюционером, он всего лишь глядел в завтрашний день.

Но каково после этого читать, будто не столь уж существенно, что ум Пушкина был лишён теоретической складки, у него, мол, хватает других достоинств и заслуг? Каково слышать предложение учесть, что почерпнутые поэтом извне, наносные политические убеждения впоследствии не выдержали проверки на прочность?

Но такой Пушкин вроде бы никому и не интересен, ибо обязан быть либо революционером, либо контрреволюционером. И тогда в первом случае понятно, почему весной 1822 года разъярённый Пушкин на все корки костерил правительство и грозился собственноручно вешать дворян. А во втором случае опять же понятно, почему ему тогда вконец опротивело “барахтаться в грязи молдавской”, как он однажды выразился.

Непонятно, как одно соединить с другим. Трактовали и так, и сяк. О “карающем кинжале” и “кровавой чаше” писал? Писал. А потом перестал? Перестал. Значит, нет “неизменно искреннего” Пушкина, а есть грубый лжец. Есть и такая модная концепция. Исходя из неё, утверждают, что в 1821 году поэт “закаялся” писать стихи в оппозиционном духе, и после 1822 года он всю последующую жизнь уже не позволял себе никаких резких высказываний, которые могли бы вызвать неудовольствие властей, заронить малейшие подозрения в его нелояльности. Странное дело, факт чрезвычайно раннего и быстрого поэтического развития Пушкина удивления ни у кого не вызывает. А вот кишинёвский перелом, совершившийся на протяжении полугода, представляется слишком быстрым.

Как же так: пылкий юноша, искавший “цель благородную”, попробовавший себя “в роли” неистового бунтаря-тираноборца, превращается (далее только цитаты, которые говорят сами за себя):

... в “циничного эгоиста и мизантропа”;

... в “смирного и здравомыслящего монархиста”;

... в “апологета чистого искусства, впрочем, не гнушающегося рифмованными славословиями царю или острыми политическими стихами, написанными по личной просьбе самодержца (например, “Клеветникам России”)”.

И объясняет это превращение испуг — “глубочайший страх перед властями, угнездившийся в душе поэта на всю оставшуюся жизнь”.

В своё время, пытаюсь проникнуть в непростой мир творчества другого величайшего поэта — Ивана Андреевича Крылова, — тот мир, который и сегодня продолжает таить ещё немало тайн, я в повествовании “Звери мои за меня говорят”, или Загадки статского советника и кавалера Ивана Андреева сына Крылова” должен был признать, что фактор страха сопровождал баснописца всю его творческую жизнь. Но в случае с Пушкиным согласиться с этим нет никакой возможности. Хотя бы потому, что, вспоминая через десять лет свою жизнь в Михайловском, сам поэт писал:

*Но здесь меня таинственным щитом  
Святое Провиденье осенило,  
Поэзия, как ангел-утешитель,  
Спасла меня, и я воскрес душой...*

Здесь, в псковской глуши, его дар стал мудрее и сильнее “идеологии”, навязываемой ему масонами и декабристами. Брошенный в тюрьму Владимир Раевский адресует Пушкину стихи, в которых призывает его посвятить лиру гражданскому служению. Однако Пушкин отвечает на призыв друга отказом. При этом он указывает на совершенно неубедительную, как представ-



ляется иным исследователям, причину, а именно: равнодушие читателей к его творчеству.

И это несмотря на то, что стихотворение “Кинжал” пришлось по вкусу революционерам-заговорщикам и стало крайне популярным в их среде!

И это в ту пору, когда, по свидетельству декабриста И. Д. Якушкина, “все его ненапечатанные сочинения: “Деревня”, “Кинжал”, “Четырёхстишие к Аракчееву”, “Послание к Петру Чаадаеву” и много других – были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал бы их наизусть”.

И это, как нам известно, в той ситуации, когда многие Пушкиным восхищались.

Но Пушкину, надо признать, мало восхищения почитателей и революционеров, он ощущает потребность, чтобы его всем сердцем на века полюбила вся Россия. В Михайловском он приходит к убеждению, что каждый образованный человек должен вдуматься в государственное и гражданское устройство общества и, по мере возможностей, неустанно способствовать его улучшению.

Отшумели бури юношеского отрицания, сброшено иноземное вольтерьянство, и поэт обращается к подлинной, старинной русской жизни, начинает изучать русскую историю, читает летописи, записывает народные сказки и песни.

Из письма к брату в октябре 1824 года: “Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки **проклятого** своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма”.

И несколько позже он пишет Н. Раевскому: “Моя душа расширилась, я чувствую, что могу творить”.

Забегая немного вперёд, тут будет уместно сказать о том, что летом 1827 года в неприбранном холостяцком номере трактира Демута, где поэт тогда обитал, Пушкин напишет восьмистишие “Три ключа”, настроение которого явит нам обрётённое им мировоззрение:

*В степи мирской, печальной и безбрежной,  
Таинственно пробилась три ключа:  
Ключ юности — ключ быстрый и мятежный,  
Кипит, бежит, сверкая и журча.  
Кастальский ключ волною вдохновенья  
В степи мирской изгнанников поит,  
Последний ключ — холодный ключ забвенья,  
Он слаще всех жар сердца утолит.*

Величие и тихое сердечное просветление этих мудрых строк – лучшее объяснение того, почему после Михайловского Пушкин не написал ни одного стиха, разящего власть, ни одной богохульственной строчки, которые раньше, на потеху минутных друзей, легко выходили из-под его пера.

И в завершение этой темы хотелось бы сослаться на суждение Петра Вяземского, возможно, лучше других знавшего политическое мировоззрение Пушкина и декабристов. В критической статье о поэме Пушкина “Цыганы” он писал:

“Натура Пушкина была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нём было более любви, нежели негодования; более благоразумной терпимости и здоровой оценки действительности и необходимости, нежели своевольного враждебного увлечения. На политическом поприще, если оно открылось бы пред ним, он без сомнения был бы либеральным консерватором, а не разрушающим либералом. Так называемая либеральная молодая пора поэзии его не может служить опровержением слов моих. Во-первых, эта пора сливается с порою либерализма, который, как поветрие, охватил многих из тогдашней молодёжи. Нервное впечатлительное создание, каким обыкновенно родится поэт, ещё более, ещё скорее, чем другие, бывает подвержено действию поветрия. Многие из тогдашних так называемых либеральных стихов его были более отголоском того времени, нежели отголоском, исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодёжи, и отзывался теми веяниями, теми голосами,

которые налетали на него. Не менее того он был искренен, но не был сектатором\* в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить её должно, как не может не любить её каждое молодое сердце, каждая благороденная душа. Но из этого не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером”.

“Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали и применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нём готового соумышленника и, к счастью его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчёту их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушения 25-го года, нежели желанию, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкина, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политическую: быть или не быть”.

7 ноября Пушкин ставит последнюю точку в трагедии “Борис Годунов”. И в тот же день именно Вяземскому пишет ставшие знаменитыми весёлые и одновременно печальные строки: “Трагедия моя кончена; я перечёл её вслух, один, и бил в ладоши и кричал: “Ай да Пушкин, ай да сукин сын!” <...> Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию, — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!”.

Происходит окончательное прощание с романтизмом. Последние точки над “i” он ставит в стихотворениях “К морю”, “Разговор книгопродавца с поэтом” и поэме “Цыганы”, которая завершила его спор с Байроном, наметившийся в первой южной поэме “Кавказский пленник”.

Мотив разъединения с людьми в “Цыганах” предвещает, как видим, события декабря на Сенатской площади. Убийство, как мы видим у Пушкина, — злодеяние, которое ведёт человека к забвению своего истинного предназначения и высшей правды. Человек сотворён не для тёмных деяний, какими бы намерениями он ни руководствовался.

Тема крови найдёт своё решение в “Борисе Годунове”. Почему Борис Годунов столько времени не решается принять царский венец? Потому что “кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол”. Почему народ не принимает Бориса? Из-за того, что на нём кровь царевича Димитрия. Заставляя своего героя испытывать нравственные мучения, Пушкин говорит нам: “... Жалок тот, в ком совесть нечиста”. Никакое общественное благо недостижимо путём преступления, никакая “высшая власть” не может, не должна основываться на крови невинных.

Есть ли в мире право, разрешающее преступить грань, отвергнуть “все нормы зла и добра ради единственного блага — торжества своего я”? Можно или нельзя? Можно совершить преступление, не погубив себя, не убив свою душу? Если нельзя, то что может помешать? Только одно — совесть.

Позже Пушкин ещё не раз вернётся к этой теме: и в “Пиковой даме”, и в “Медном всаднике”, и в “Капитанской дочке”, и в “Моцарте и Сальери”, где Сальери, вроде бы абсолютно уверенный в своей правоте, в своей правде, никак не может забыть реплику Моцарта о “гении и злодействе”.

Поэт уже не ищет в истории тиранов и жертв, его не устраивает и “фаталистический взгляд” на события и судьбы, которому ещё вчера он следовал. Приходит время, когда приоритетным принципом для поэта оказывается “хладнокровие”. Отказ от политизации поэзии приводит его к трезвому скептицизму в оценке современности и отрицанию своеволия в политике, к осознанию нелепости рассуждений о благородстве или неблагородстве тех или иных исторических деятелей без уяснения характера общих законов. Говоря современным языком, можно сказать, что в своём творческом подходе к решению проблемы Пушкин проявил искусство системного мышления.

“В тиши черновиков” Пушкин размышляет и пишет свои, как объявило бы нынешнее телевидение, “песни о главном”. Они не о любви, они об истории и историзме, морали и политике, гении и злодействе. Его не устраивают обе “модные” крайности: ни восторженный панегирик, ни тираноборческое обли-

\* Последователь секты.

чение. Именно с точки зрения объективности он из своего Михайловского прославляет (даже преувеличенно) Карамзина, противопоставляя его “историкам-декламаторам”. Отсюда и грустные слова про “колпак юродивого” в письме Вяземскому. Пушкин убеждает других, хотя, конечно, больше всё же самого себя, что надевает его взамен красного, революционного, “фригийского”. Хотя и вынужден признать, что, увы, “никак не упрятать ушей...”.

Имеющий уши услышит здесь звуковой фон разговоров и споров о судьбах России и политических путях её преобразования сторонников идеи тираноубийства, всё с большей настойчивостью обсуждавшейся в конспиративных кругах. Этот фон века в исторической драме Пушкина современниками был замечен. Впрочем, сам Пушкин его и не скрывал. “Мы живём во дни переворотов – или переоборотов (как лучше?)”, – с тревогой писал он издателю и журналисту М. Погодину в январе 1831 года опять же в связи с “Борисом Годуновым”. Тем самым он прямо указывал на современность, а вовсе не на пати́ну времени, какая сопровождает его “изображение прошлого”. Прошлого, предвещающего гибель Александра II от брошенной бомбы для достижения благородных целей, – это событие случилось спустя полвека после декабрьского восстания, оно подтвердило, что история, не вняв Пушкину, последовала за житейской философией “молодых якобинцев” и осталась прагматической-бесчеловечной.

Когда Пушкин выводил пером строки трагедии, он писал не историю Бориса Годунова, он писал Гражданский кодекс, по которому, если отторгнуть святость от престола, не будет и самого права на власть. Из чего следует: убить законного царя – значит, отделить власть от святости и править людьми как угодно, но не именем Бога. Но тогда движущей силой событий становится умение “народ искусно волновать”. Словом, любой, у кого хватит ума сесть на трон, будет царём. Любой самозванец может получить власть, лишённую таинственного ореола. Всё выльется в дурную бесконечность, в чехарду, имеющую на Руси своё точное определение: “смутное время”, когда каждый, захвативший трон, занят одним: требует от народа клятвы в верности, будь то присяга или молитва. А народу ничего другого не остаётся, как послушно кричать: “Да здравствует царь...”

Доведись Пушкин стать участником нашего разговора, он взглянул бы на актуальную по сию пору для русского народа проблему не самым ожидаемым нами образом. Ещё тогда, в своё время, задолго до отмены крепостного права, он думал и писал то, что многим из нас кажется невозможным:

*“... Конечно: должны ещё произойти великие перемены; но не должно топтать времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...”*

Это сказано в 1834 году в “Путешествии из Москвы в Петербург”, где Пушкин полемизирует с Радищевым. Но сам вопрос о русском народе поставлен им в “Борисе Годунове”. Если попытаться реконструировать логику пушкинского размышления, можно увидеть, что ход мысли ведёт его к совсем не сказочной развилке трёх дорог.

**Налево** пойдёшь – якобинский деспотизм найдёшь, который по мере проникновения в Россию грозил России временами “ужаса”. Почему так, а не иначе? Потому что по своему устройству и воздействию на людей и историю страны механизм событий оказывался безжалостным и оборачивался всё более страшными последствиями. Так оно и вышло: декабристы разбудили Герцена, следом пришли террористы “Народной воли”, а там уже и большевики пожаловали. Обещанная свобода превратится в свою противоположность, братство – в гражданскую войну. На смену же равенству быстро придёт бюрократический режим, в котором сила сметёт традиции, мораль, религию, а партийные разногласия по поводу власти станут разрешаться кровавой резнёй.

**Направо** пойдёшь – наткнёшься на стихию крестьянского бунта, “бессмысленного и беспощадного”, с его кровавыми инстинктами толпы. Эта стихия привлечёт внимание Пушкина. Он будет пристально всматриваться в Болотникова, Разина, самозванца Пугачёва. Действительно, в чём-то страшный народ. С одной стороны, такой бескорыстный, но с другой – не дорожит своей собственностью, да и к чужой относится не лучше. “Борисом Годуновым” Пушкин станет нащупывать связь между страстью к воле и сопротивлением насилию власти. Художественное исследование этой дороги поведёт его

к “Дубровскому”, “Истории Пугачёвского бунта”, “Капитанской дочке” и далее – к “Медному всаднику”.

**Прямо** пойдёшь – встретишь презрение общества, цинично презирающего саму мысль о необходимости человеческого достоинства, равнодушного ко всему, что является справедливостью, долгом и правом.

В контексте российского бытия Пушкин, не закрывая глаза на деспотизм в монархической форме, из всех зол выбирает, как ему кажется, меньшее: “спасительную пользу самодержавия”. По разным причинам: и потому, что отсутствовало действенное общественное мнение, и потому, что “правительство – всё ещё единственный европеец в России”, и потому, что только здесь можно было искать в национальном опыте и народной среде силы, способные противостоять деспотизму в любых формах. Или, как он повторит в “Путешествии из Москвы в Петербург” вслед за Радищевым (кажется, это было единственное, в чём они сошлись): *“Власть и свободу сочетать должно на взаимную пользу”*.